

А.В. Скиперских

**МЕЖДУ ГОСПОДОМ
И ГОСПОДИНОМ:
ДИСКУРС БОЛИ
В ТЕКСТАХ
Ф. ДОСТОЕВСКОГО:
ПОЛИТИКО-КУЛЬТУРНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ**

Аннотация

В данной статье делается попытка исследования дискурса боли как продукта деятельности бунтующего человека. Именно в нём, с точки зрения автора, раскрываются причины амбивалентного поведения, характерного для носителей русской культуры. Необъяснимость и потаённость отдельно взятого бунтующего человека начинает проецироваться и на саму культуру, формирующуюся с помощью культурных продуктов подобных бунтующих людей.

Используя художественные тексты Ф. Достоевского, автор пытается рассмотреть, как в том или ином субъекте чередуется стремление осуществлять наказание и репрессию, и необходимость переживания и стыда за совершённые деяния. Автор считает, что в подобные моменты в субъекте одновременно конфликтуют между собой господин (холодный и безжалостный) и Господь (тёплый, стремящийся к любви и жертвенности). Бунтующий человек двойится в своём стремлении быть похожим, как на Бога, испытывающего страдание за других людей, так и на господина, на повелителя, способного отправлять насилие и осуществлять репрессивные акты.

Двойственность русской культуры во многом сказывается и на двойственности самой боли. Дискурс боли в текстах Ф. Достоевского раскрывается в многочисленных ситуациях актуализации боли. Автор считает, что субъект оказывается в ситуации выбора между двумя стратегиями. С точки зрения автора, боль может быть следствием осуществлённого насилия в отношении какой-либо жертвы, либо

A. Skiperskikh

**BETWEEN GOD AND
MASTER: DISCOURSE
OF PAIN AT THE TEXTS
OF F. DOSTOEVSKY.
POLITICAL AND
CULTURAL DIMENSION**

Abstract

This article is an attempt to study the discourse of pain as a product of human activity rebellious man. From the point of view of the author, the reasons of the ambivalent behavior, characteristic of Russian culture can be explain of rebellion behavior. Inexplicable and sanctuary of a single rebellious person starts projected on the culture itself, formed with the help of cultural products such rebellious people.

Using literary texts by Dostoevsky, the author tries to consider how in a particular subject alternates desire to carry out the punishment and repression, and the need for experience and a shame for the act committed. The author believes that in such moments in the subject at the same time conflict with each other Master (cold and ruthless) and God (warm, tending to Love and Sacrifice). Rebellious man doubles in his quest to be the same as God, to suffer for other people, and the master, able to send the violence and implement the repressive acts. Duality of Russian culture largely affects the duality of the pain. Discourse pain texts Dostoevsky revealed in numerous situations actualization pain. The author believes that the subject is in a situation of choice between two strategies. From the point of view of the author, the pain may be due to implemented violence against any victim or be the consequence of acquiring own.

The subjects are the carriers of Russian culture presented in the mysterious image of the hero of Dostoevsky. In this article, the author talks about the fac-

стать следствием собственного стяжания. Субъектами выступают носители русской культуры, представленные в загадочных образах героев Ф. Достоевского. В данной статье автор рассуждает и о факторах, способствующих преобразованию протестной энергии в культурные продукты. С точки зрения автора, проблемы, открытые Ф. Достоевским, в полной мере проецируются на реальную политическую и культурную практику.

tors contributing to the transformation of energy in the protest cultural products. From the point of view of the author, the problems exposed by Fyodor Dostoevsky, fully projected onto the real political and cultural practices.

Ключевые слова:

боль, бунт, бунтующий человек, власть, дискурс, Достоевский, протест.

Key words:

pain, rebellion, rebellious people, power, discourse, Dostoevsky, protest.

Фигура бунтующего человека по-разному вырисовывается в культурном пейзаже. Бунтующий человек всегда притязает на большую свободу, нежели имеет, что и предопределяет его подчас довольно радикальные поступки. Культурная традиция имеет значение. Притязать на расширение собственных прав и свобод можно по-разному, и в данном смысле сам субъект вбирает очень много от самой культуры. Автор уже неоднократно акцентировал внимание на существующую зависимость между субъектом протеста и культурным контекстом, либо провоцирующим субъекта к постоянной демонстрации своего «Я», либо, наоборот, делающим такие демонстрации практически невозможными.

В частности, в русской культуре субъект протеста имеет все шансы с каждой новой попыткой артикуляции собственных политических претензий всё ближе подходить к крайним формам насилия. Перспектива подобных действий всегда окутана некоей тайной, потому как, следуя мысли М. Фуко, «восстающий человек, в принципе, необъясним» [13, с. 16]. Человек, решающийся на протест, таким образом, начинает всё больше интриговать и зачаровывать. Его разгадка прекращается в мучительные поиски истины.

В настоящей статье мы попытаемся понять, как бунтующий человек изображается в текстах Ф. Достоевского. Безусловно, горизонт бунта представляется настолько глубоким, что делает возможным исследования только в конкретных дискурсах. В данной статье мы акцентируем внимание на том, как бунтующий человек в текстах Ф. Достоевского, проявляет себя в дискурсе боли.

Двойственность природы бунтующего человека как раз предполагает, что он может самостоятельно испытывать боль и даже стремиться к болево-

му ощущению, равно, как и вызывать боль в ком-либо. Данная двойственность как раз предполагает смену режимов жизнедеятельности, которые по-разному обосновываются этически. Субъект может быть и героическими и низким, что является следствием «растворения этических норм» [7, с. 86].

Бунтующий человек как бы двоится в своём стремлении быть похожим, как на Бога, испытывающего страдание за других людей, так и на господина, на повелителя, способного отправлять насилие и осуществлять репрессивные акты. С одной стороны, субъект бунта готов испытывать стыд, готов позиционироваться религиозным человеком, подчас удивляющим собственной кротостью. В данном случае, тело ему не принадлежит и ощущаемая им боль может представляться вызванной извне. Человек представляется зависимым от воли извне, от случая, от Бога, что лимитирует его самость и склонность к независимому, «авторскому» поведению.

С другой стороны, «бунтующий человек» живёт в постоянном ощущении принадлежности собственного тела самому себе. Субъект протеста выступает в качестве высшей силы и готов спокойно (это вписывается в его картину мира и запросто объясняется им) распоряжаться жизнью другого человека. В таком случае, субъект притязает на право быть равным высшей силе, субъект пытается притязать на её статус.

Судя по текстам Ф. Достоевского, у боли – два эпицентра распространения. В зависимости от того, какую стратегию поведения выбирает субъект (Господь иди господин), и зависит вектор артикуляции боли. В случае, если субъектом выбирается первый вариант, то эпицентром боли выступает его тело – он готов испытывать боль сам. Именно его тело становится некоей экспериментальной площадкой для ощущения боли, для её физического постижения на личном опыте. Также, боль может испытываться и за другого. Боль выступает некоей ответственностью, которую следует примерять на себя. Субъект оказывается подобным Христу, испытывающему страдание за весь человеческий род. Кстати, подобные аналогии встречаются в текстах политических философов. Общество может стать заложником не совсем эффективной политики государя, но, в то же время, оно может и потерпеть временное неудобство ради открывающейся перспективы обретения блаженства затем. В частности, их можно встретить у Г. Гроция в тексте «О праве войны и мира» [4, с. 171].

Наконец, второй вариант предполагает, что эпицентром боли является тело другого человека. В таком случае, боль есть следствие властно-

го посылает, адресуемого всемогущим господином. Господин распоряжается телом другого, как будто своей собственностью, не соизмеряя объёмы и глубину страдания, которое может испытывать жертва со своим собственным физическим опытом. Конечно, и в данном варианте можно увидеть присутствие стремления уподобления Господу, потому как субъект насилия прибегает к наказанию, указывая на провинившегося перед ним в силу ряда причин своим карающим перстом.

На наш взгляд, субъект в текстах Ф. Достоевского, в большинстве случаев, так и не определяется с собственной позицией, занимая промежуточное положение между Господом и господином.

«Человек – это страдающая середина между сверхчеловеком и подчеловеком» [10, с. 132], – отметит М. Пришвин в «Дневниках», пытаясь разглядеть общие черты в человеке бунта и Раскольнике. С точки зрения М. Пришвина, стремление Раскольникова оказаться на позиции сверхчеловека (по сути дела, на позиции Господа), оказалось не реализованным. Более того, определённые искушения, которых не удалось избежать, наоборот, приблизили Раскольникова именно к позиции подчеловека (господина), распоряжающегося жизнью других.

Как мы видим, позиция подчеловека может быть исключительно субъективистской – рассуждения «господина», артикулирующего насилие на теле жертвы, вызывающего в ней боль, связываются с собственными умозрительными схемами.

Необходимо понимать, что герои Ф. Достоевского, пытающиеся примерять маску то Господа, то господина, по сути дела, являются прототипами реальных людей, продукты деятельности и поведения которых как раз и составляют культуру. Данная гипотеза интересна не только потому, что культура являет нам себя не всегда в овнешнённых формах, представленных творческими продуктами, но и формах потаённых. Даже внешне блистательные культурные продукты могут быть следствием сильных переживаний своего автора. Культура представляется производным от человеческого капитала, а он не всегда свидетельствует о счастливых переживаниях субъектов. Культурные продукты есть производное и от трагического, и несбывшегося, от ressentimenta, испытываемого автором.

Попытаемся перепроверить нашу гипотезу на текстах Ф. Достоевского. На наш взгляд, двойственность позиции субъекта между Господом и господином может быть рассмотрена в контексте артикуляции насилия.

Как уже отмечалось выше, при этом объектом может выступать собственное тело (насилие направлено на самого себя, вовнутрь), либо другое тело (субъект притязает на право причинять ему боль и страдание).

Страдание Христа: стигматизация себя

Ради уподобления Господу, субъект может стремиться обрести боль и страдание. Груз страдания означает ответственность за других – мысль об этом, наверняка, является важной для самого субъекта. Испытанная боль, так или иначе, маркирует тело субъекта, оставляя на нём свидетельства испытаний. Именно в стигматизации будут находиться основания для политической легитимации.

Наверное, отчасти, могут быть справедливы аналогии с харизматическим господством М. Вебера, базирующимся на харизме политического лидера. Одним из важных оснований харизматического господства выступала религиозность политического лидера, а также его яркая внешность, следы увечий на лице, шрамы, стигматы, свидетельствующие о перенесённой боли.

Испытание болью может быть стремлением ощутить страдания другого. Представить, насколько ему тяжело. Либо даже постараться превзойти страдания другого, демонстрируя собственное самоотречение.

В «Братьях Карамазовых» штабс-капитан Снегирёв думает, что Алёша Карамазов пришёл в его дом для того, чтобы пожаловаться на Илюшечку. Неожиданно Снегирёв предлагает Алёше стать свидетелем акта насилия над самим собой. Снегирёв на глазах Карамазова грозит отрезать самому себе палец. Что собой представляет данная ситуация, как не попытку субъекта компенсировать страдание другого уничтожением собственного тела.

Выставляя в качестве опытной базы собственное тело, субъект как бы подчёркивает его незначительность по сравнению с духом. Материальное уступает духовному. Так, нигилист Кириллов в «Бесах» говорит о перспективе передачи собственного тела после смерти в научное пользование.

Опыты над телом носят экспериментальный характер. Субъект будто пытается измерить его растяжение, проверить, насколько оно ограничено. При этом субъект в текстах Ф. Достоевского решается на то, что он самостоятельно никогда не испытывал. Коля Красоткин из «Братьев Карамазовых» удостоверяет своих одноклассников в том, что способен лечь

под проходящий поезд. Экспериментальный характер боли заключается в её незначительности по сравнению с моралью, с ответственностью за данное обещание. Страдания собственного тела перманентны по сравнению с более длительными и фундаментальными душевными муками – субъект прекрасно понимает это.

Очень близко к предыдущей ситуации находится ситуация, при которой субъект выступает в качестве носителя правды – он формулирует смыслы, именно от его лица объясняется реальность. Подобное позиционирование вызывает озлобление других. Именно в тот самый момент субъект готов терпеть боль, осветляющую его.

Чувство правды приравнивается и к чувству собственного достоинства, к неспособности отказаться от сказанного. Борьба за правду превращается ещё и в опыты человеческой выносливости. Вспомним, как терпел боль укушенного пальца Алёша Карамазов, когда его укусил Илюшечка, или как благороден был Коля Красоткин в тот момент, когда тот же Илюшечка Снегирёв ударил его ножом в колено.

Вообще, необходимо понимать, что истоки бунта могут быть изначально «щедрыми» [6, с. 355], судя по замечанию А. Камю, которого привлекало, как позиционируется бунтующий человек. Как раз именно эта «щедрость» и предполагает определённую честность бунта, стремление восстановить попорченную правду. Щедрость бунта, его благородные корни могут моментально заразиться злобой. Французский гуманист, кстати, предупреждает об этой опасной метаморфозе.

Страдание за собственную правду есть трудная борьба за сохранение собственного лица (для Алёши Карамазова – своё понимание репутации, у Коли Красоткина – другое), за собственный статус, сводящаяся к формуле: «Правда выше вашей боли».

Оберегание правды связывается с рисками для собственного тела, но тот, кто подобен Господу, в меньшей степени думает об этом.

Безусловно, не всегда испытываемая субъектом боль в текстах Ф. Достоевского может уравнивать его с болью и терпением Христа. Субъект не всегда социален в своих желаниях и устремлениях. Порой, боль является условием, открывающим для него доступ к неким благам.

Ганечке в «Идиоте» предлагают выхватить из камина пылающую пачку рогожинских денег. Вряд ли его терпение в данный момент может напоминать терпение Христа. А если и резкое движение за объётой пла-

менем пачкой и отметит на его теле стигматы, то их происхождение будет явно не связываться с каким-то мученическим выяснением истины.

Тот же Ганечка Иволгин держит палец над свечой, объясняясь в любви к Аглае. Так он пытается поставить некий эксперимент в отношении собственной воли и чувствительности. Но и здесь, безусловно, данный акт не сильно располагает к его пониманию, как некоего испытания, правдоискательства.

Возжелание боли может носить и мазохистский оттенок. В текстах Ф. Достоевского есть ряд примеров, когда потенциальный страдалец вполне спокойно реагирует на потенциального вершителя его судьбы (эпизоды с револьвером в «Кроткой» и «Преступлении и наказании»). Также это может выражаться в довольно подробном и упоительном описании орудий убийства и своих опытов с ним. В данном смысле, бритва, перемотанная шёлком, о которой спокойно рассказывает Аглае Настасья Филипповна во время их встречи, может приравниваться к ножу, обнаруженному князем Мышкиным у Парфёна Рогожина. Аглая как-то рассказывает о своей стрельбе по голубям из самодельного лука. Коля Красоткин виртуозно экспериментирует с самозарядной пушечкой.

Вообще, орудия убийства (самоубийства) хранятся героями Ф. Достоевского с особой тщательностью и оберегаются с большим пиететом и достоинством. На данное обстоятельство автор уже обращал внимание в одной из своих работ [12, с. 19]. Действительно, если сам человек Ф. Достоевского является потаённым и скрытым, едва ли не подпольным, то, что тогда говорить о том, каков его сокровенный и таинственный мир.

Следует принять во внимание, что терпимость к боли, а в ряде случаев, даже и возжелание боли в отношении себя и другого может восходить и к русскому народному православию – хлыстовству. Подтверждением того могут быть некоторые эпизоды из текста «Хозяйки» Ф. Достоевского.

Реакция на боль позволяет глубже узнать особенности национального характера. Такова, в частности, может быть «идея о страстности, крайности русского характера, которую он наблюдал в себе» [7, с. 30]. Если предположить, что в русском национальном характере довольно сильно акцентировано религиозное начало, то его амбивалентный характер становится всё более очевидным.

Господь как господин: карающий перст

Боль может быть не только испытанием для собственного тела, но и предназначаться для другого. Тогда перед нами раскрывается совершенно иной человек, нежели тот, который был готов самолично испытывать боль выработать страдание в себе.

Этот человек также пытается походить на Бога, но уже в контексте формулирования «правил игры» и отправления наказания. Так Господь проглядывает и в господине, пытающемся артикулировать насилие на тех, кто определённым образом может зависеть от него самого. Отсюда, боль в текстах Ф. Достоевского продуцируется усилиями именно подобных людей.

При этом нужно заметить, что господином может выступать самый обычный человек, никогда не связанный принятием политических, властных решений. Вызывание боли в другом человеке выступает едва ли не единственным утешением для него. Конструирование боли в другом превращается в конструирование своего мини-государства, где он сам является местоблюстителем и интерпретатором, монархом и палачом, законодателем и исполнителем. Именно в тот самый момент им чётко понимается собственная субъектность. Уже затем, вслед за актом насилия, наступает период безусловного подчинения, и реализованная субъектность моментально исчезает. Очень важно, что в текстах Ф. Достоевского герои делают выбор в пользу насилия в состоянии унижения, будучи оскорблёнными и подвергшимися психологической репрессии.

Герои, пытающиеся говорить от имени Господа, как карающей инстанции зачастую ставят других в то состояние, что некогда испытывалось ими самими. Субъект поневоле оказывается режиссёром и перформером, жестоким ситуационистом и экспериментатором. Есть и ещё один нюанс в описываемой нами ситуации. Как правило, насилие артикулируется на тех объектах, что оказываются слабее субъекта – обладателя карающего перста.

В «Братьях Карамазовых» Илюшечка Снегирёв, тяжело переживая случай с унижением собственного отца, проникается идеей мщения. Мальчик вставляет булавку в хлебный мякиш, и скормливает его собаке Жучке. Страдания собаки вызывают в нём облегчение и жестокую удовлетворённость, впоследствии сменяющуюся ощущением стыда. Что-то подобное можно увидеть и в случае с укушенным им пальцем Алёши Ка-

рамазова. В «Идиоте» Аглая признаётся в убийстве голубей из самодельного лука. Действительно, что двигало героиней в момент убийства голубей? Чем руководствовалась она в момент изготовления орудия убийства? Ответ прост – она оставляла именно лично за собой право использовать насилие в отношении другого. В сконструированном ею самой государстве существовали такие правила и установления.

Объектом насилия в некоторых случаях оказываются и члены семьи – субъект – господин регулирует уровень их прав и свобод (капитан Лебядкин в «Бесах», Свидригайлов в «Преступлении и наказании»).

В осуществлении актов насилия субъект уподобляется и Господу, и государству, сосредотачивающему право на насилие в своих институтах. В конкретном пространстве и времени именно интересующий нас субъект оказывается абсолютной властью, принимающей на себя ответственность за право на жизнь другого человека. Показательно, что осуществление насилия легко объясняется идеологической конструкцией. Субъекту кажется, что дискурс власти, который он наполняет правилами, легко даёт ему право объяснять собственные политические выборы и решения.

В автобиографическом «Шуме времени» О. Мандельштам заметит: «Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, - и биография готова» [9, с. 152]. Прочитанный текст - этический свод, которым обладает человек. Этого бывает достаточно для формирования позиции по тем или иным вопросам, касающимся собственного места в системе мира.

В частности, можно обратить внимание на ту безапелляционность, с которой Раскольников оправдывает совершённое им убийство. Он совершенно серьёзно предполагает, что имеет полное право осуществить этот акт. Причём, он даже испытывает себя данной мыслью. «Власть даётся только тому, кто сеет наклониться и взять её, - рассуждает он, - Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорее узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить, или не смогу! Осмеюсь ли я нагнуться и взять, или нет? Тварь ли я дрожащая, или право имею...» [5, с. 637].

Таким образом, сам факт убийства в «Преступлении и наказании» приобретает экспериментальный характер. Причём, это констатируется не в результате каких-то глубоких сомнений и противоречий. Герои Ф.

Достоевского, прибегающие к крайним формам насилия, оказываются и определителем вины другого человека – по сути дела, судьями (совмещение с божественной функцией), и палачами – исполнителем приговора, подготовленного, оправданного и согласованного с самим собою. Идея, внезапно приходящая к бунтующему человеку Ф. Достоевского, оказывается настолько сильной, что ему (человеку) не требуется её выносить в публичный дискурс. Идея об отправлении наказания, о перспективах артикуляции насилия в отношении потенциальной жертвы не обсуждается с другими. Господину не нужны присяжные, он не заинтересован в диалоге и обсуждении затаённой идеи.

Показательно, что после осуществлённого им акта насилия, перманентного торжества господина и его карающего перста, Раскольников снова становится обычным, зависимым человеком, сдавленным тесной невыносимостью бытия. Унизительность своего материального положения не может не осознаваться человеком. Человек будто бы сдавливается от подобной невыносимости. Вместе с этим, он приобретает и особую опасность в момент своего разжатия, распрямления, в момент разящего выпада. Вспомним, как однажды охарактеризует М. Пришвин Ставрогина – героя «Бесов»: «в его давящей тоске был как бы низкий потолок» [10, с. 132].

Низкая степень экономических свобод как раз и является одним из важных факторов, провоцирующих человека на протест, а в контексте нашего исследования, на выбор в пользу той или иной модели поведения (Господь и господин). Подобная зависимость неоднократно устанавливалась посредством социологических и политических штудий. В частности, электоральная активность не может не привязываться к экономическому положению самого электората. Что-то подобное можно заметить и в отношении протестной активности. Так, Т. Гарр отмечает в качестве условий бунта такие важные моменты, как снижение реальных возможностей на фоне либо сохранения, либо возрастания ожиданий [2, с. 18]. Расхождение между ценностными ожиданиями и ценностными возможностями, отмеченное Т. Гарром, актуализируется в течение всего исторического процесса, вне зависимости от типов политических режимов и форматов проводимой политики. У каждого государства будет свой опыт культурного переживания. Россия – не исключение.

Показательно, что субъект бунта, представляющийся то Господом, то господином – это разночинец, человек не совсем богатый и реализо-

ванный в жизни и не обладающий мощным публичным капиталом, но, кажется, ностальгирующий по нему, пытающийся обратить на себя внимание, скучающий по популярности. Отсюда, волевой акт разночинца, связанный с болью, будет попыткой преодолеть проблемные места своей биографии и говорить от имени всей культуры. Чем дальше – тем омерзительнее для него может быть мысль об утопичности данного проекта, тем страшнее ресентимент, тем страшнее напряжение собственного тела в страшном, трепетном ожидании и жутче трепещет тень потенциальной жертвы.

Двойственный характер боли и её эпицентра распространения, характерный для текстов Ф. Достоевского, в каком-то смысле, связывается с двойственностью самоощущения самого автора. Личный опыт автора не может не участвовать в конструировании собственных героев. Между прочим, личный опыт автора состоит из ожидания смертной казни, заменённой в последний момент на каторгу.

Двойственность боли проявляется в её прерывистом характере, в её спорадичности. Акты насилия могут возобновляться после определённых пауз, по истечению периодов затишья человеческой активности. В тот самый момент не знаешь, что ожидать от бунтующего человека, и в какой ипостаси он явится перед тобой. Будет ли он милостивым, кротким страдальцем, уничижающим своё тело за странную, мечтательную правду, ли это будет разъярённый хам, обрушающий насилие на послушное, слабое тело. Отсюда, что герой Ф. Достоевского – «задумчивый Некто, одной рукой глядящий голову испуганного ребёнка, а другой – хлещущий по глазам «бессловесную животинку» [1, с. 127].

Как-то очень симптоматично характеризует коллективных героев и Б. Савинков. Его понимание особенностей русской культуры, её маятниковости и непредсказуемости, отчасти, похоже на восприятие самого Ф. Достоевского: «народ-богоносец либо раболепствует, либо бунтует; либо кается, либо хлещет беременную бабу по животу; либо решает мировые вопросы, либо разводит кур в ворованных фортепьяно» [11, с. 27]. Действительно, не о человекобожеских героях Ф. Достоевского идёт здесь речь?

Многообразие ситуаций двойственного поведения подчёркивает, что субъект находится в постоянном метании между Господом и господином. Это двойственность И. Бунин назовёт «провалами», свойствен-

ными русскому народу. Г. Кузнецова в «Грасском дневнике» вспоминала рассуждения И. Бунина об этой черте русской культуры, легко перепроверяющейся на биографии героев Ф. Достоевского: русский человек «молится, а потом может так запалить в своего бога... как это свойственно всем дикарям, когда бог не исполняет их желаний. Но это не мешает ему потом опять поставить его перед собой, намазать ему губы салом, кланяться...» [8, с. 177].

Нужно понимать, что подобный субъект, находящийся в состоянии постоянного метания между двумя крайностями, выбирающий то аскетичную формулу существования вместе с покаянием, то способный вызывать боль в другом человеке, является ещё и производителем культуры. Культурные продукты создаются (в том числе) и волею бунтующих людей. Иногда, их творчество может носить потаённый, запрятанный характер, а порой оно может отмечаться довольно громкими и волнительными поводами.

Мысль бунтующего человека, сначала робкая, а потом – более уверенная мысль, зачастую может оказаться искрой, раздувающей костёр бунта. Можно только гадать, каковы могут быть его последствия. Действительно, в страшные трагедии и катастрофы могут представляться гримасой бунтующего человека, аргументы и доводы которого не были услышаны в своё время. Его апелляции к справедливости не были удовлетворены. Поэтому, он пытается говорить от имени Господа и господина одновременно и порой решается на совершенно невероятные по размаху акты насилия. Стоит согласиться с французским исследователем А. Глюксманом, в одной из работ, посвящённой Ф. Достоевскому и насилию, отметившего, что в данном случае «крайне потрясает бессловесность насилия» [3, с. 19]. Человек, к которому не прислушивались ранее, теперь с удовольствием не отвечает на многочисленные вопрошания в свой адрес. Вся его аргументация была выражена в этом яростном акте.

Таким образом, бунтующий человек в текстах Ф. Достоевского непосредственным образом связан с дискурсом боли. Стремление к переживанию боли выглядит двояким.

С одной стороны, боль вызывает либо Господь в тот момент, когда жертвует своим телом, уничижает его, либо господин, когда кого-то наказывает, карает. В этот самый момент господин может напоминать Господа в том смысле, что готов наказывать провинившихся.

Готовность самому испытывать боль, которая причинялась другому, и моментальное раскаяние, предваряющая жестокое насилие в отношении другого – характерные черты героев текстов Ф. Достоевского, в каком-то смысле, являются некими ключами к пониманию амбивалентности русской культуры и производимых в её рамках культурных продуктов.

Литература

1. Волгин И. Родиться в России. Достоевский и современники. Жизнь в документах. М., 1990.
2. Гарр Т. Почему люди бунтуют. СПб., 2005.
3. Глюксман А. Достоевский на Манхэттене. Екатеринбург, 2006.
4. Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994.
5. Достоевский Ф.М. Избранные сочинения. В 2 т. Т. 2. Л., 1962.
6. Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990.
7. Кашина Н.В. Эстетика Ф.М. Достоевского. М., 1975.
8. Кузнецова Г. Грасский дневник. СПб., 2009.
9. Мандельштам О. Египетская марка. Л., 1928.
10. Пришвин М. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 8. Дневники, 1905-1954. М., 1986.
11. Ропшин В. Конь вороной. Ижевск, 1990.
12. Скиперских А.В. Европейский и русский бунт: сходство и различие культурных контекстов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2014. №1.
13. Фуко М. Восстановить бесполезно? // Неприкосновенный запас. 2011. №5.

References

1. Volgin I. Rodit'sya v Rossii. Dostoevskii i sovremenniki. Zhizn' v dokumentakh. M., 1990.
2. Garr T. Pochemu lyudi buntuyut. SPb., 2005.
3. Glyuksman A. Dostoevskii na Mankhettene. Ekaterinburg, 2006.
4. Grotsii G. O prave voiny i mira. M., 1994.
5. Dostoevskii F.M. Izbrannye sochineniya. V 2 t. T. 2. L., 1962.
6. Kamyu A. Buntuyushchii chelovek. Filosofiya. Politika. Iskusstvo. M., 1990.
7. Kashina N.V. Estetika F.M. Dostoevskogo. M., 1975.
8. Kuznetsova G. Grasskii dnevnik. SPb., 2009.
9. Mandel'shtam O. Egipetskaya marka. L., 1928.
10. Prishvin M. Sobranie sochinenii v vos'mi tomakh. T. 8. Dnevnik, 1905-1954. M., 1986.
11. Ropshin V. Kon' voronoi. Izhevsk, 1990.
12. Skiperskikh A.V. Evropeiskii i russkii bunt: skhodstvo i razlichie kul'turnykh kontekstov. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Povolzhskii region. Obshchestvennye nauki. 2014. №1.
13. Fuko M. Vosstavat' bespolezno? Neprikosnovennyi zapas. 2011. №5.